

Павел Висковатов

Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова



Павел Висковатов

**Жизнь и творчество
М. Ю. Лермонтова**

«Public Domain»

1891

Висковатов П. А.

Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова / П. А. Висковатов —
«Public Domain», 1891

«Горячо любила Михаила Юрьевича Лермонтова воспитавшая его бабка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, и память о ней тесно связана с именем поэта. Она лелеяла его с колыбели, выходила больным ребенком, позаботилась дать ему блестящее и серьезное для того времени образование, сосредоточила на нем всю свою любовь и заботы. В преклонных летах, частью именно из-за этой беззаветной преданности к внуку, пользовалась она всеобщим уважением и не раз успевала отвращать своим заступничеством серьезную опасность, грозившую поэту. Когда его не стало, она выплакала по нему свои старые очи. Ослабевшие от слез веки падали на них, и, чтобы глядеть на опостылый мир, старушке приходилось поддерживать их пальцами...»

Содержание

Часть I	5
Глава I	5
Глава II	15
Глава III	22
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Павел Висковатов

Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова

Часть I

Детство и первая юность

Глава I

Бабушка поэта Е. А. Арсеньева. – Отец и мать. – Рождение М. Ю. Лермонтова. – Семейная жизнь родителей. – Смерть матери и разлука с отцом. – Детские забавы. – Воспитатели и товарищи детства. – Поездки на Кавказ. – Первая любовь.

Горячо любила Михаила Юрьевича Лермонтова воспитавшая его бабка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, и память о ней тесно связана с именем поэта. Она лелеяла его с колыбели, выходила больным ребенком, позаботилась дать ему блестящее и серьезное для того времени образование, сосредоточила на нем всю свою любовь и заботы. В преклонных летах, частью именно из-за этой беззаветной преданности к внуку, пользовалась она всеобщим уважением и не раз успевала отвращать своим заступничеством серьезную опасность, грозившую поэту. Когда его не стало, она выплакала по нему свои старые очи. Ослабевшие от слез веки падали на них, и, чтобы глядеть на опостылый мир, старушке приходилось поддерживать их пальцами.

По рассказам знавших ее в преклонных летах, Елизавета Алексеевна была среднего роста, стройна, со строгими, решительными, но весьма симпатичными чертами лица. Важная осанка, спокойная, умная, неторопливая речь подчиняли ей общество и лиц, которым приходилось с ней сталкиваться. Она держалась прямо и ходила, слегка опираясь на трость, всем говорила «ты» и никогда никому не стеснялась высказывать то, что считала справедливым. Прямой, решительный характер ее в более молодые годы носил на себе печать повелительности и, может быть, отчасти деспотизма, что видно из ее отношения к мужу дочери – отцу нашего поэта. С годами, под бременем утрат и испытаний, эти черты сгладились – мягкость и теплота чувств осилили их – хотя строгий и повелительный вид бабушки молодого Михаила Юрьевича доставил ей имя Марфы Посадницы среди молодежи, товарищей его по юнкерской школе. В обширном кругу ее родства и свойства именовали ее просто «бабушка».

Елизавета Алексеевна, урожденная Столыпина, была дочь богатого помещика Алексея Емильяновича Столыпина, давшего многочисленному своему семейству отличное воспитание. Многие из членов этой семьи представляли собой людей с недюжинными характерами, самостоятельных и даровитых. Сперанский был с ними в самых приятельных отношениях, и они поддерживали дружбу с ним даже и во время его опалы когда многие боялись иметь к нему какое-либо отношение.

Сам Алексей Емильянович был человек бывалый, упрочивший состояние свое винными откупами, учрежденными при Екатерине II. Собутыльник графа Алексея Орлова, Алексей Емильянович усвоил себе и повадки, и вкусы его. Он был охотник до кулачных боев и разных потех, но всему предпочитал театр, который в симбирской его вотчине был доведен до возможного совершенства и, перевозимый хлебосольным хозяином в Москву, возбуждал общее удивление. Актерами были крепостные люди, но появлялись на сцене порой и домочадцы, и гости.

Дочери Алексея Емильяновича, девицы крепкого сложения, рослые и решительные, повыходили замуж уже в почтенном возрасте. Елизавета Алексеевна, бабка Лермонтова, соче-

талась браком с гвардии поручиком Михаилом Васильевичем Арсеньевым, который был моложе ее лет на восемь.

Арсеньев был членом большой семьи, владевшей селом Васильевское в Тульской губернии, Ефремовского уезда. Женившись, Михаил Васильевич переехал с женой в имение Тарханов, Пензенской губернии, Чембарского уезда. В Васильевском оставались жить родные сестры его, девицы Варвара и Марья Васильевны, вдовая Дарья Васильевна да четыре его брата. Бывая в Москве и перекочевывая из нее в Пензенскую губернию, Арсеньевы подолгу гостили у них в Васильевском. От брака этого была всего одна дочь – Марья Михайловна. Отец ее, по рассказам, умер неожиданно и при необыкновенных обстоятельствах.

Хотя старушка Арсеньева впоследствии охотно говорила о счастливом супружестве, но в действительности сравнительно молодой муж чувствовал себя, кажется, не вполне счастливым с властолюбивой женой. Он увлекся соседкой-помещицей, княгиней или даже княжной Манвой. Елизавета Алексеевна вспылала ревностью к своей счастливой сопернице и похитительнице ее прав. Между женой и мужем произошла бурная сцена. Елизавета Алексеевна решила, что ноги соперницы ее не будет в Тарханах. Между тем, как раз к вечеру 1 января охотники до театральных представлений Арсеньевы готовили вечер с маскарадом, танцами и театральным представлением новой пьесы – шекспировского Гамлета в переводе Висковатова. Гости начали съезжаться рано. Михаил Васильевич постоянно выбегал на крыльцо, прислушиваясь к знакомым бубенчикам экипажа возлюбленной им княжны. Полная негодования, Елизавета Алексеевна следила за своим мужем, с которым она уже несколько дней не перекидывалась словом. Впоследствии оказалось, что она предусмотрительно послала навстречу княжне доверенных людей с какой-то энергичной угрозой. Княжна не доехала до Тархан и вернулась обратно. Небольшая записка ее известила о случившемся Михаила Васильевича.

Что было в этой записке? Что вообще происходило между Арсеньевым и женой?.. Дело кончилось трагически. Пьеса разыгрывалась господами, некоторые роли исполнялись актерами из крепостных. Сам Арсеньев вышел в роли могильщика в V действии. Исполнив ее, Михаил Васильевич ушел в гардеробную, где ему и была передана записка княжны. Пришедшие затем гости нашли его отравившимся. В руках он судорожно сжимал полученное извещение.

Во время трагической смерти отца Марье Михайловне было лет пятнадцать. Мать страстно любила дочь свою, и, кажется, эта беззаветная привязанность вызвала охлаждение к мужу. Однако со смертью его проснулись воспоминания первых счастливых лет супружества, и Елизавета Алексеевна старалась устроить жизнь свою в прежних рамках. Как при муже, она каждый год проводила несколько месяцев в Москве, куда ездили из пензенского имения, посещая и останавливаясь на пути у родных и знакомых помещиков.

Возвращаясь однажды из Москвы, мать с дочерью заехали в Васильевское, к Арсеньевым, да и загостились у них. С Арсеньевыми находилась в большой дружбе семья Лермонтовых, жившая по соседству в имении своем Кроптовка. Она состояла из пяти сестер и брата Юрия Петровича, который был воспитан в 1-м кадетском корпусе в Петербурге, а потом служил в нем и вышел в отставку по болезни в 1811 году с чином капитана. Таким образом была прервана довольно успешная карьера 24-летнего офицера. Объясняется отставка, кажется, необходимостью переехать в имение и заняться хозяйством, с которым сестры не могли справиться.

Красивый молодой человек с блестящими столичными приемами произвел на Марью Михайловну сильное впечатление. Женское население Кроптовки и Васильевского жарко принялось за дело, и, к радости или к неудовольствию Елизаветы Алексеевны, молодые люди были помолвлены, и Марья Михайловна приехала с матерью в Тарханы объяв ленной невестой.

Родня Арсеньевой, кажется, не очень сочувственно отнеслась к проектированному браку и недоброжелательно глядела на бедного капитана, принадлежавшего не к родовитому их кругу. Венчание происходило в Тарханах с обычной торжественностью при большом съезде

гостей. Вся дворня была одета в новые платья. Среди гостей находились сестра Юрия Петровича и мать его Анна Васильевна.

Хотя Юрий Петрович, как увидим ниже, и происходил от древней шотландской фамилии, рано переселившейся в Россию, и предки его занимали видные должности при первых царях из дома Романовых, но род их обеднел, средства оскудели, и сам Юрий Петрович, как и другие, вряд ли знал хорошо свою родословную. Это можно видеть из того, что сын его еще в 1834 году не имел точных сведений о роде своем и обращался к родственнику своему за гербовой печатью, чтобы вырезать герб на своей.

Выйдя замуж, Марья Михайловна не получила в приданое недвижимого, и за ней считалось всего 17 душ без земли, вывезенных покойным отцом из его тульской деревни. Зато мужу ее, Юрию Петровичу, предоставлено было управлять имениями матери, селом Тарханы и деревней Михайловская. Он и распоряжался этими имениями до самой смерти жены полным хозяином – «вошел в дом», по выражению старожилов. Молодые выехали из Тархан в Москву, когда состояние здоровья Марьи Михайловны этого потребовало. За ними последовала и Елизавета Алексеевна.

Лермонтовы поселились в доме генерала-майора Федора Николаевича Толя около Красных ворот. Здесь у них со 2 на 3 октября родился сын. Крещен он был 11 октября и в честь деда Арсеньева наречен Михаилом. И в этом тоже заметна настойчивость характера бабки Арсеньевой, потому что из рода в род Лермонтовы именовались то Петром, то Юрием. Поэт наш первый в длинном ряду предков получил нетрадиционное имя, и отец его Юрий Петрович согласился на это неохотно.

Малютка и мать его были окружены всевозможными заботами. Из Тархан уже вперед, до срока, прислали двух крестьянок с грудными младенцами. Врачи выбрали из них Лукерью Алексеевну в кормилицы к новорожденному. Она долго потом жила на хлебах в Тарханах, и Михаил Юрьевич уже взрослым не раз навещал ее там, справлялся о житье-бытье и привозил подарки. Из Москвы Лермонтовы с бабушкой и грудным ребенком своим вернулись в Тарханы, и Юрий Петрович выезжал из них лишь иногда по хозяйственным делам то в Москву, то в тульское имение.

Супружеская жизнь Лермонтовых не была особенно счастливой; скоро даже, кажется, произошел разрыв или, по крайней мере, сильные недоразумения между супругами. Что было причиной их, при существующих данных, определить невозможно. Юрий Петрович охладел к жене. Может быть, как это случается, ревнивая любовь матери к дочке, при недоброжелательности к мужу ее, усугубила недоразумения между ними. Может быть, распущенность помещичьих нравов того времени сделала свое, но только в доме Юрия Петровича очутилась особа, занявшая место, на которое имела право только жена. Звали ее Юлией Ивановной, и была она в доме Арсеньевых в их тульском имении, где увлекся нежным к ней чувством один из членов семьи. Охраняя его от чар Юлии Ивановны, последнюю передали в Тарханы, в качестве якобы компаньонки Марьи Михайловны. Здесь ей увлекся Юрий Петрович, от которого ревнивая мать старалась отвлечь горячо любящую дочку. Этот эпизод дал повод Арсеньевой сожалеть бедную Машу и осыпать упреками ее мужа. Елизавета Алексеевна чернила перед дочерью зятя своего, и взаимные отношения между супругами стали невыносимы. Временная отлучка Юрия Петровича, поступившего в ополчение, не поправила их. Если сопоставить немногочисленные сведения о Юрии Петровиче, то это был человек добрый, мягкий, но вспыльчивый, самодур, и эта вспыльчивость, при легко воспламенявшейся натуре, могла доводить его до суровости и подавала повод к весьма грубым и диким проявлениям, несовместимым даже с условиями порядочности. Следовавшие затем раскаяния и сожаления о случившемся не всегда были в состоянии искупить содеянное, но, конечно, могли возбуждать глубокое сожаление к Юрию Петровичу, а такое сожаление всегда близко к симпатии.

Немногие помнящие Юрия Петровича называют его красавцем, блондином, сильно нравившимся женщинам, привлекательным в обществе, веселым собеседником, «*bon vivant*», как называет его воспитатель Лермонтова Зиновьев. Крепостной люд называл его «добрым, даже очень добрым барином». Все эти качества должны были быть весьма не по нутру Арсеньевой. Род Столыпиных отличался строгим выполнением принятых на себя обязанностей, рыцарским чувством долга и чрезвычайной выдержкой – черты, отличавшие потом друга и товарища Михаила Юрьевича Алексея Аркадьевича Столыпина, известного под именем «Монго», который в обществе и среди товарищей почитался образцом благородства и рыцарства. В Юрии Петровиче выдержки-то именно и не было. Старожилы рассказывают, как во время одной поездки с женой всплывший Юрий Петрович поднял на нее руку.

Факт этого грубого обращения был последней каплей в супружеской жизни Лермонтовых. Она расстроилась, хотя супруги, избегая открытой распри, по-прежнему оставались жить с бабушкой в Тарханах.

Марья Михайловна, родившаяся ребенком слабым и болезненным, и взрослой все еще выглядела хрупким, нервным созданием. Передраги с мужем, конечно, не были такого свойства, чтобы благотворно действовать на ее организм. Она стала хворать. В Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугой, носившем за ней лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью; помнили, как возилась она с болезненным сыном. И любовь, и горе выплакала она над его головой. Марья Михайловна была одарена душой музыкальной. Посадив ребенка своего себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слезы катились по его личику. Мать передала ему необычайную нервность свою.

Наконец злая чахотка, давно стоявшая настороже, схватила слабую грудь молодой женщины. Пока она еще держалась на ногах, люди видели ее бродящей по комнатам господского дома, с заложенными назад руками. Трудно бывало ей напевать обычную песню над колыбелью Миши. Постучалась весна в дверь природы, а смерть – к Марье Михайловне, и она слегла. Муж в это время был в Москве. Ему дали знать, и он прибыл с доктором накануне рокового дня. Спасти больную нельзя было. Она скончалась на другой день по приезду мужа. Ее схоронили возле отца, и на поставленном мраморном памятнике еще и теперь читается надпись:

ПОД КАМНЕМ СИМЪ ЛЕЖИТ ТЕЛО

МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ

ЛЕРМОНТОВОЙ,

УРОЖДЕННОЙ АРСЕНЬЕВОЙ,

Скончавшейся 1817 года, февраля 24 дня, в субботу Житие ей было 21

годъ, 11 месяцевъ и 7 дней

Что произошло между мужем и матерью покойной, неизвестно, но только Юрий Петрович по смерти жены оставался в Тарханах всего 9 дней и затем уехал к себе в Кроптовку.

Убитая горем, Елизавета Алексеевна приказала снести большой барский дом в Тарханах, свидетеля смерти ее мужа и любимой дочери, и воздвигла на его месте церковь во имя Марии Египетской. Рядом с церковью она построила небольшое деревянное здание с мезонином, где и поселилась с внуком своим. Этот дом в Тарханах уцелел и по сей день.

Через несколько времени после отъезда своего из Тархан Юрий Петрович потребовал к себе сына. 5 июня Сперанский пишет брату Арсеньевой Аркадию Алексеевичу Столыпину: «Елизавету Алексеевну ожидает крест нового рода: Лермонтов требует к себе сына и едва согласился оставить еще на два года. Станный и, говорят, худой человек; таков, по крайней мере, должен быть всяк, кто Елизавете Алексеевне, воплощенной кротости и терпению, решится делать оскорбление». Рассуждение, впрочем, немного странное – называть желание

отца иметь при себе сына «оскорблением бабушки». Вообще отзыв Сперанского, очевидно, не знавшего лично Юрия Петровича, надо принимать осторожно. Факт, что Юрий Петрович, несмотря на свое раздражение против жены и тещи, оставляет сына у бабушки, скорее доказывает его мягкость. Предположить, что он не любил сына или оставлял его у других по равнодушию к нему, трудно. Зачем ему в таком случае было требовать сына к себе? Зачем сдаваться на просьбы и представления бабушки, решаясь наконец быть в разлуке с сыном еще только два года? Миша был тогда всего трех лет. Отец рассудил, что уход за ним под наблюдением любящей его богатой бабушки будет лучше, нежели у него, вдовца с весьма ограниченными средствами. Дальше мы увидим, что взаимные отношения отца и сына были задушевные и любящие. Со стороны чувства к своему ребенку упрекать Юрия Петровича, кажется, нельзя.

Глубоко подавленная смертью дочери, Елизавета Алексеевна перенесла на внука всю свою любовь и приязнь. Она видела в нем средоточие всего, что было отнято судьбой в лице ее мужа и потом дочери. Этот внук носил имя своего деда; умирающая дочь поручила ей беречь его детство. Кроме Миши у нее никого не оставалось на свете. Она с ним старалась не расставаться; он спал в ее комнате, она наблюдала за каждым его шагом, страшилась малейшего нездоровья. Рожденный от слабой матери, ребенок был не из крепких. Если случалось ему занемогать, то в «деловой» дворовые девушки освобождались от работ, и им наказывали молиться Богу об исцелении молодого барина.

Приставленная со дня рождения к Мише бонна немка Христиана Осиповна Ремер и теперь оставалась при нем неотлучно. Это была женщина строгих правил, религиозная. Она внушала своему питомцу чувство любви к ближним, даже и к тем, которые по положению находились от него в крепостной зависимости. Избави Бог, если кого-либо из дворовых он обзовет грубым словом или оскорбит. Не любила этого Христиана Осиповна, стыдила ребенка, заставляла его просить прощения у обиженного. Вся дворня высоко чтит эту женщину, для мальчика же ее влияние было благотельно. Всеобщее баловство и любовь делали из него баловня, в котором, несмотря на прирожденную доброту, развивался дух своеволия и упрямства, легко при недосмотре переходящий в детях в жестокость.

Елизавета Алексеевна так любила своего внука, что для него не жалела ничего, ни в чем ему не отказывала. Все ходило кругом да около Миши. Все должны были ему угождать, забавлять его. Зимой устраивалась гора, на ней катали Михаила Юрьевича, и вся дворня, собравшись, потешала его. Святками каждый вечер приходили в барские покои ряженные из дворовых, плясали, пели, играли, кто во что горазд. При каждом появлении нового лица Михаил Юрьевич бежал к Елизавете Алексеевне в смежную комнату и говорил: «Бабушка, вот еще один такой пришел!» – и ребенок делал ему посильное описание. Все, которые рядились и потешали Михаила Юрьевича, на время святок освобождались от урочной работы. Праздники встречались с большими приготовлениями, по старинному обычаю. К Пасхе заготавливались крашеные яйца в громадном количестве. Начиная со Светлого Воскресения, зал наполнялся девушками, приходившими катать яйца. Михаил Юрьевич все проигрывал, но лишь только удавалось выиграть яйцо, то с большой радостью бежал к Елизавете Алексеевне и кричал:

– Бабушка, я выиграл!

– Ну, слава Богу, – отвечала Елизавета Алексеевна. – Бери корзинку яиц и играй еще.

«Уж так веселились, – рассказывают тархановские старушки, – так играли, что и передать нельзя. Как только она, царство ей небесное, Елизавета Алексеевна-то, шум такой выносила!

А летом опять свои удовольствия. На Троицу и Семик ходили в лес со всем дворней, и Михаил Юрьевич впереди всех. Поварам работы было – страсть, на всех закуски готовили, всем угощение было».

Бабушка в это время сидела у окна гостиной комнаты и глядела на дорогу в лес и длинную просеку, по которой шел ее баловень, окруженный девушками. Уста ее шептали молитву. С нежнейшего возраста бабушка следила за играми внука. Ее поражала ранняя любовь его к

созвучиям речи. Едва лепетавший ребенок с удовольствием повторял слова в рифму: «пол-стол» или «кошка-окошко», ему ужасно нравилось, и, улыбаясь, он приходил к бабушке поделиться своею радостью.

Пол в комнате маленького Лермонтова был покрыт сукном. Величайшим удовольствием мальчика было ползать по нему и чертить мелом.

Память о матери глубоко запала в чуткую душу мальчика: как сквозь сон, грезилась она ему; слышался милый ее голос. Потеряв мать на третьем году, он, хотя смутно, но все-таки помнил ее. Замечено, что такие воспоминания могут западать в душу даже с двухлетнего возраста, выступая всю жизнь светлыми точками из причудливого мрака детских воспоминаний. В детстве звуки песни, петой ему матерью, всегда доводили Лермонтова до слез. Позднее он никак не мог вспомнить слов ее, но утверждал, что если бы услышал эту песню, она произвела на него прежнее действие.

Альбом матери он всегда возил с собой и еще 11-летним мальчиком на Кавказе вносил в него свои рисунки. Неразлучен с ним был и дневник матери.

Окруженный заботами и ласками, мальчик рос баловнем среди женского элемента. Фантазия его рано была возбуждена. Если ему и не пришлось слышать русских народных сказок, о чем он так сожалел позднее, находя, что «в них больше поэзии, чем во всей французской словесности», то все же голова ребенка полна была образов романтического мира.

Тогдашнее романтическое направление немецкой литературы уже давало себя знать, и немудрено, что его «мамушка», как он называл свою бонну-немку, немало передала ему рассказов, которые наполнили собой юную головку.

Рано уже любил мальчик часами глядеть на луну, следить за разнообразными облаками, воображать в них рыцарей в шлемах, окружающих чудесное светило. Представлялось оно ему волшебницей, плавно идущей в свой чудесный замок, сопровождаемой дружиной верных защитников от опасных врагов – великанов, карлов и безобразных драконов и чудищ.

Во втором отрывке из неоконченной повести, имеющем, как и почти все писанное Лермонтовым, автобиографическое значение, изображается развитие характера мальчика – Саши Арбенина. Уже само имя Арбенина, столь часто встречающееся в разнородных сочинениях Лермонтова и всегда являющееся как бы прототипом свойств самого автора, дает нам право видеть в главных чертах Саши рассказ, взятый из истории детского развития самого Михаила Юрьевича. Саша Арбенин живет в деревне, окруженный женским элементом, под руководством няни. Няня эта заведует хозяйством, и с нею странствует Саша по девичьим, или же девушки приходят в детскую. «Саше с ними было очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами храбрости и картинами мрачными и понятиями противообщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем, присущая всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный камень сбивал с ног бедную курицу. Бог знает, какое направление принял бы его характер, если бы не пришла на помощь корь – болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ножки. Целые три года оставался он в самом жалком положении, и если бы он не получил от природы железного телосложения, то верно отправился бы на тот свет. Болезнь эта имела влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом

себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно. Но, увы, никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он охватывал все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страдания тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником среди синих и студеньх волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури».

Для рано образовавшегося внутреннего, душевного мира поэта, мальчик не находил выражения, и, как это всегда бывает в подобных случаях, сила фантазии и общения мысли устремилась на явления природы. Детская душа, как душа младенствующих народов, тесно примыкает к природе и, сама уходя в нее, в то же время привлекает ее к себе, олицетворяет, индивидуализирует. Поэтому-то в памяти особенно даровитых людей на всю жизнь сохраняются поразившие их фантазию картины природы. Только позднее ум начинает интересоваться человеком, и мы увидим, как Лермонтов, даже и в поэзии своей, долго сохраняет интерес к звездам, тучам, в особенности ко всем величественным, мрачным или приветным явлениям природы и через них знакомит нас с состоянием души своей.

Воображение мальчика Лермонтова рано наполняли видения во сне и наяву. Еще в 1830 году вспоминает он сон, который видел восьми лет и который сильно подействовал на его душу. Вспоминает он, как в те же годы случилось ему однажды ехать куда-то в грозу и как перед ним быстро несло по небу небольшое облако, «как бы оторванный клочок черного плаща», и долго в памяти поэта живет то грозное небо с клочком мрачной, словно бедой чреватой, тучи.

Как Саша Арбенин, Лермонтов перенес трудную и продолжительную болезнь. Он вообще был весьма золотушным ребенком, страдал «худосочиет», и этому-то, между прочим, приписывала бабушка оставшуюся на всю жизнь кривизну ног своего внука. Желание искоренить следы этой болезни и вообще поправить слабый организм Мишеля побудило ее взять его на кавказские воды.

Хотя Арсеньева и не ладила с своим зятем, но она не совершенно прекратила отношения с ним и его семьей. В 1825 году, когда бабушка опять повезла внука на кавказские воды, ее сопровождал Михаил Пожогин, женатый на родной тетке Михаила Юрьевича Авдотье Петровне Лермонтовой. Что Лермонтов ребенком бывал в имении отца, видно из приписки к стихотворению его «Гений», где он упоминает, что в 1827 году пребывал в ефремовской деревне.

Когда Михаил Юрьевич подрос и вступил в отроческий возраст, – рассказывают старожилы села Тарханы, – были ему набраны одноклассники из дворовых мальчиков, обмундированы в военное платье, и делал им Михаил Юрьевич учение, играл в воинские игры, в войну, в разбойников. Товарищами были ему также родственники, жившие по соседству с Тарханами, в имении Апалиха, принадлежавшем племяннице Арсеньевой Марии Акимовне Шан-Гирей. У нее были дети: дочь Екатерина и три сына, старший из которых, Аким Павлович, воспитывался с Мишей и всю жизнь оставался с ним в дружеских отношениях. Близость места жительства ежедневно сводила детей, учившихся у одних и тех же наставников. Поступив позднее в университетский пансион в Москве, Лермонтов еще долго остается в переписке с родной семьей и, говоря о занятиях своих, дает советы относительно занятий прежнего своего товарища и троюродного брата.

Желая создать для Мишеля вполне подходящую обстановку, было решено обучать его вместе со сверстниками, с которыми он делил бы тоже и часы досуга. Кроме Акима Шан-Гирея, в Тарханах года два воспитывались и двоюродные его братья со стороны отца: Николай и Михаил Пожогин-Отрошкевичи, два брата Юрьевых, временно князя Николай и Петр Максютоты и другие. Одно время в Тарханах жило десять мальчиков. Елизавета Алексеевна не щадила средств для воспитания внука. Оно обходилось ей до десяти тысяч рублей ассигнациями. На это-то она и указывала отцу, когда тот заводил речь относительно желания своего

воспитывать сына при себе. Бедный человек, конечно, не был в состоянии сделать для Мишеля даже и части того, что делала бабушка.

Кроме обыкновенного курса наук, Мишеля и сверстников обучали языкам французскому и немецкому, а из древних – латинскому и греческому. Последнему обучал грек из Кефалонии, бежавший в Россию во время смут, предшествовавших войне за освобождение Греции. Но успехи Мишеля у этого ученого политического выходца были не особенно блестящи, и импровизированный ментор скоро перешел на чисто практическую деятельность. Он занялся выделкой шкур собак и этому искусству научил окрестных крестьян, до сей поры им занимающихся.

Своих сверстников Мишель любил делить на два лагеря. Происходили военные игры, воздвигались и брались крепости, совершались переходы. Порой устраивались танцы и даже домашние спектакли. Внимание воспитателей было обращено также и на развитие эстетического вкуса в питомце. Кажется, одной из любимых забав мальчика было занятие театром марионеток, в то время весьма распространенным. Еще из Москвы Лермонтов просил тетку выслать ему «воски», потому что и в Москве он «делает театр, который довольно хорошо выходит, и где будут играть восковые фигуры» (письмо N 1 к М. А. Шан-Гирей). Аким Павлович Шан-Гирей хорошо помнил этих актеров-кукол с вылепленными самим Лермонтовым головами из воска. Среди них была кукла, излюбленная мальчиком-поэтом, носившая почему-то название «Berquin» и исполнявшая самые фантастические роли в пьесах, которые сочинял Мишель, заимствуя сюжеты или из слышанного, или из прочитанного.

Лепил Лермонтов недурно, и С. А. Раевский рассказывает (материалы Хохрякова), что двенадцати лет он «вылепил из воску спасение жизни Александра Великого Клифом при переходе через Граник». Слоны и колесница, украшенные бусами, стеклярусом и фольгой, играли тут главную роль.

Желая поправить здоровье внука, бабушка несколько раз возила его на кавказские воды. У Столыпиных было имение Столыпиновка недалеко от Пятигорска, а ближе к Владикавказу жила сестра Арсеньевой Хастатова. В 1825 году поехали туда многочисленным обществом: бабушка, кузины Столыпины, доктор Анзельм Левис, Михаил Пожогин, учитель Иван Капэ и гувернантка Христина Ремер – все это сопровождало Мишу. Приехали в Пятигорск в начале лета и здесь съехались с Екатериной Алексеевной Хастатовой, прибывшей из своего имения.

В голове мальчика тогда бродило уже многое. Чуткий ко всем явлениям природы, черпая из них нескончаемый материал для жизни фантазии, Лермонтов не мог не поддаться обаянию величественного Кавказа. Впечатления эти коснулись отзывчивой души мальчика и вызвали новый мир жизни и любви. Вот тут-то встретился он с ребенком-девушкой, вызвавшей первую весеннюю грозу души и глубоко и надолго запавшей в память мальчика. Она была немногим моложе Лермонтова, лет девяти. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденные движения, а над ней – синее южное небо, упирающееся в седые вершины кавказских ледников, ниже – хребты гор, одетые причудливыми облаками, а вблизи – шум воды, бегущей меж скал по камням; вокруг – пышная зелень в блеске теплых лучей или облитая румяным закатом. Долго потом вспоминал мальчик-поэт этот Кавказ и время первой с ним встречи, время первого пробуждения души, и шестнадцатилетним юношей в тетрадах своих, в которых он изливал все чувства свои в стихотворной форме, он, вспоминая и славя Кавказ, как будто не в силах найти подходящую рифму и лад, пишет ему дифирамб стихотворной прозой:

«Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах; облаками меня одевали; вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас да о небе...».

Едва ли к чему-либо так пристрастилось сердце Лермонтова, как к Кавказу. На него он излил всю свою любовь, им он дышал. Кавказ открыл ему свои объятия, величественные, как душа поэта, и объятия эти заменили ему ласки рано умершей матери, а позднее – любовь

родной души, дружбу близких и далекую родину. В 1830 году в упомянутых черновых тетрадах через несколько страниц после воззвания к Кавказу он посвящает ему же еще стихотворение.

Хотя я судьбой, на заре моих дней,
О, южные горы, отторгнут от вас!
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз.
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.

В младенческих летах я мать потерял,
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас,
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.

Я счастлив был с вами, ущелья гор!
Пять лет пронеслось, все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз.
И сердце лепечет, вспоминая тот взор:
Люблю я Кавказ.

Тут же, 8 июля того же 1830 года, шестнадцатилетний Лермонтов делает описание этой своей ранней страсти:

«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду?... Мы жили большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушка, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти; я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиной в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая, это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О, сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум. И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату, не хотел говорить о ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтобы биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда... И поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они забыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованию, а это было бы мне больно... Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность...

Нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священны...»

По возвращении с Кавказа бабушка с внуком вновь поселились в Тарханах. Это село на расстоянии 120 верст от Пензы, верстах в 12 от Чембар, уездного города с 3000 жителей, в близком расстоянии от большого села Крюковка. Едва выедешь из села этого, как в стороне покажется несколько изб среди густой зелени окружающих деревьев. Над ними высится скромный шпиль сельской колокольни. Это – Тарханы. Барский дом, одноэтажный с мезонином, окружен был службами и строениями. По другую сторону господского дома раскинулся рос-

кошный сад, расположенный на холме. Кусты сирени, жасмина и розанов клумбами окаймляли цветник, от которого в глубь сада шли тенистые аллеи. Одна из них, обсаженная акациями, сросшимися наверху настоящим сводом, вела под гору к пруду. С полугорья открывался вид на село с церковью, а дальше тянулись поля, уходя в синюю глубь тумана. Здесь мечтал своей детской душой пробужденный мальчик. Здесь переживал он вынесенные впечатления и лелеял мечты о девочке-ребенке, из которой слагался образ чудесного создания, молодой идеал юношеской фантазии.

Очевидно, к этому эпизоду детской любви относится стихотворение «Первая любовь», писанное в 1830 году.

Образ девушки этой возникал пред ним в детских мечтах, в уединении деревенского барского сада, над прудом и полями родного села, в блеске лучей заходящего солнца, среди трепетно падающих листьев ко сну отходящего осеннего леса. Так слит образ этой девушки с воспоминаниями детства, что еще за полтора года до смерти прибегает он к нему, уходя душой из пестрой толпы шумно окружавшего его столичного общества:

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забиться, памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей.
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей.
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится – и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листья
Шумят под робкими шагами.
И странная тоска теснит уж грудь мою.
*Я думаю о ней, я плачу и люблю.
Люблю мечты моей созданье,
С глазами полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня,
За роцей первое сиянье...*

Глава II

Переселение в Москву и воспитатель Капэ. – Боевые рассказы. – Влияние наполеоновских войн. – Капэ и Ле Гран. – Патриотические чувства. – Недовольство положением дел после 25 года отражается на музе Лермонтова. – Новые наставники. – Поступление в Благородный Университетский пансион. – Его состояние в бытность в нем Лермонтова. – Наставники: Зиновьев, Мерзляков и другие.

Когда Лермонтову пошел 14-й год, решено было продолжать его воспитание в «Благородном Университетском пансионе». В 1827 году бабушка повезла внука в Москву и наняла квартиру на Поварской. Теперь для Мишеля наступила новая жизнь: все пошло по-другому. Шумная рассеянная жизнь заменила прежнюю. В Тарханах и на Кавказе мальчик жил в простой, но поэтической обстановке, с людьми незатейливыми, искренно его любившими. Воспитатель его эльзасец Капэ был офицером наполеоновской гвардии. Раненым попал он в плен к русским. Добрые люди ходили за ним и поставили его на ноги. Он, однако же, оставался хворым, не мог привыкнуть к климату, но, полюбив Россию и найдя в ней кусок хлеба, свыкся и глядел на нее, как на вторую свою родину. И послужил же он ей, став наставником великого поэта.

Лермонтов очень любил Капэ, о котором сохранилась добрая память и между старожилками села Тарханы; любил он его больше всех других своих воспитателей. И если бывший офицер наполеоновской гвардии не успел вселить в питомце своем особенной любви к французской литературе, то он научил его тепло относиться к гению Наполеона, которого Лермонтов идеализировал и не раз воспевал. Может быть также, что военные рассказы Капэ немало способствовали развитию в мальчике любви к боевой жизни и военным подвигам. Эта любовь к бранным похождениям вязалась в воображении мальчика с Кавказом, уже поразившим его во время пребывания там, и с рассказами о нем родни его. Одна из сестер бабушки поэта Екатерина Алексеевна Столыпина была замужем за Хастатовым, жившим в своем имении близ Хасаф-Юрта по дороге из Владикавказа. Оно находилось невдалеке от Терека и именовалось Шелковицей (Шелкозаводск) или «Земной рай», как называли его по превосходному местоположению.

С таким названием еще можно было примириться, принимая в соображение несовершенство всего земного. Назвать имение «раем небесным» нельзя было уже потому, что небесное нам представляется мирным, а мира-то в этой местности тогда именно и не было: имение подвергалось частым нападениям горцев; кругом шла постоянная мелкая война. Однако Екатерина Алексеевна так привыкла к ней, что мало обращала внимание на опасность. Если тревога пробуждала ее от ночного сна, она спрашивала о причине звуков набата: «Не пожар ли?» Когда же ей доносили, что это не пожар, а набег, то она спокойно поворачивалась на другую сторону и продолжала прерванный сон. Бесстрашие ее доставило ей в кругу родни и знакомых шуточное название «авангардной помещицы».

С Хастатовой Лермонтов познакомился во время своих поездок на Кавказ, да и сама она приезжала навестить свою дочь М. А. Шан-Гирей, жившую в имении своем Апалиха, близ Тархан. Мишель жадно прислушивался к волновавшим его фантазию рассказам о горцах, схватках удалых, набегам бранной жизни. С другой стороны, говорил ему на подобную же тему Капэ, да и вообще тогда все жило еще воспоминаниями о наполеоновских войнах.

То было на Руси время удивительное – эти годы после отечественной войны. Давно Россия на земле своей не видала врагов. Долгий и крепкий сон, которым спала особенно провинция, был нарушен. Очнувшийся богатырь разом почувствовал свою мощь, познал любовь свою к родине так, как сказала она в нем разве два века назад, в 1612 году, когда стихийные чувства пробудились, смолкла взаимная вражда мелких интересов, перестали существовать сословные предрассудки, забылись привилегии классов, притупились чувства собственности, и каждый,

в ком не иссохла душа, – а таких людей, слава Богу, было много – каждый чувствовал, что все его достояние, весь он принадлежит народу и земле родной. Этому народу, этой земле приносилось в дар достояние, как легко добытое, так и трудами накопленное. Оно приносилось в дар или прямо родине, или уничтожалось, чтобы не попало в руки врага и через то не послужило бы во вред родной земле.

Весь существовавший до той поры порядок был нарушен. Социальный строй общества изменился. Понятия *мое* и *твое* перестали существовать; все были поглощены заботами об общем достоянии народа. В общественном понятии воцарились равенство и братство, а за достижение свободы все равно бились и умирали. В России заговорили те же поднимающие дух истины, которые электризовали французский народ в эпоху великой революции. Вот почему, несмотря на вражду, эти два народа, именно в эту годину бед ближе познали друг друга и преклонились в лучших людях своих перед одними и теми же идеалами. Взаимные симпатии и удивление великодушным чертам характера держались упорно, несмотря на проснувшийся патриотизм. Удивительно, что пробудившееся у нас самоуважение, забытое было среди лжи и поклонения всему иноземному, никогда не доводило русских до ослепляющего самомнения. Еще Петр, победителем под Полтавой, в шатре своем

За учителей своих
Заздравный кубок поднимает.

Пожегший добро свое русский, голодный и бесприютный, дружески относится к пленному французу. Говорят, Наполеон под Аустерлицем с соболезнованием и симпатией глядел на храбро гибнувших русских.

Однако зачем же превозносить русских? Не было ли того же одушевления и в Германии? – скажут мне. – Да, и там было оно, и там были люди, которые жертвовали последними грошами своими на войну за освобождение. Да это было не то, – собственность свою вообще там не забывали. Где же уничтожали перед врагом свое добро? Где там горожане жгли города свои, крестьяне – избы и жатву, купцы – свои запасы? Где же горела Москва, Смоленск? Где купец Ферапонтов, который, увидав в своей лавке солдат, расхищавших добро его и насыпавших пшеничную муку в ранцы свои, кричал им: «Таци все ребята. Не доставайся дьяволам... Решилась Россия, решилась! Сам запалю».

«А разве мы не доказали в 12-м году, что мы – русские? Такого примера не было от начала мира... Мы – современники и не понимаем великого пожара в Москве, мы не можем удивляться этому поступку; эта мысль, это чувство родились вместе с русскими. Мы должны гордиться, а оставить удивление потомкам и чужестранцам, – так рассуждает 17-летний Лермонтов. – Ура, господа, здоровье пожара Московского!...»

Трудно провести параллель между тогдашней Россией и Германией. Там сожжение своей собственности русскими казалось признаком варварства: «Русские не доросли еще до Eigenthumsgefiihl'a»¹, – поясняют немцы. Может быть, это и недостаток культуры. Может быть, «культуртрегеры» немцы и обучат нас иному, но только факт остается фактом, и идеи французской революции, разнесенные по лицу Европы наполеоновскими войнами, коснулись нас сильнее и отозвались в лучших умах наших, запечатлевших 25-летним страданием в Сибири свои декабрьские заблуждения.

Пусть декабристы наши повлекли за собой гонение на многие молодые, увлекавшиеся силы, погибшие рано, без прямой пользы родине, все же от них мы считаем новую эру умственного нашего развития. Это была наша первая эпоха возрождения умов, а эти умы воспитали наполеоновские походы. Не ровнять тогдашнюю Россию с Германией по культуре и общему

¹ Чувства уважения к своей собственности.

развитию, но только мы, или то немногое, что среди нас было тогда культурного, сильнее восприняли в себя идеалы добра и человеколюбия. Правительство русское еще боролось против подавляющей метгерниковской системы, и когда вся Германия склонилась под нее шею свою, Россия последняя бросилась в ее объятия печальной реакции, от которой не могли отвлечь ее утописты-мечтатели «союза благоденствия».

Удивительно, насколько лучше люди смотрели тогда на Наполеона. Поражала своим величием эта мощь человека, поднявшегося благодаря только собственной своей силе до величайшей власти, умевшего подавить многоголовую гидру анархии и междоусобия французского народа. Тут было что-то роковое, всепоглощающее и сокрушившееся само о другую, неизвестную ей, тоже роковую силу.

Пошел великан чужой земли на русского великана, пошел на дерзкий бой с неведомой ему силой. Да и сам-то русский великан сознавал ли свою силу, знал ли, где она у него таилась? Может быть, вследствие этого незнания и были так дерзки притязания рокового витязя чужой нам земли. Сошлись витязи;

Но улыбкою одною
Русский витязь отвечал,
Посмотрел, тряхнул главою:
Ахнул дерзкий и упал.

С удивлением, если не с благоговением, относились мы к личности Наполеона, и не было рабочего кабинета, где бы не находился столбик с чугунной куклой:

Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками сжатыми крестом...

Войны с Францией не охладили симпатии русских к французам, а напротив усилили ее. Удивительно, что не только семьи наводнились воспитателями-французами, но даже в казенных заведениях можно было встретить французских наставников, с полной симпатией относившихся к идеалам французской революции. Так, в императорском Александровском лицее профессор словесности был брат Марата, «весьма уважавший память известного французского террориста и приязненно относившийся к демократическим идеям».

Рассказы Капэ, по-видимому, имели на Лермонтова влияние подобное тому, какое на Гейне-ребенка имел влияние Ле Гран, солдат-барабанщик наполеоновской армии, стоявший в доме родителей поэта в Дюссельдорфе. «Когда я не понимал слова «liberte», – рассказывает Гейне, – он бил марш «Марсельезы», и я схватывал значение слова. Когда я не понимал, что значит «egalite», он бил марш «ca-ira, ca-ira...», и я понимал... Внимая Ле Грану, Гейне научился любить Наполеона. «Я видел переход через Симилон: впереди всех император, а за ним лезли, цеплялись храбрые гренадеры. Испуганные птицы с криком кружились над ними, а вдали слышался гром обвалов. Я видел императора на Лодиевском мосту с знаменем в руках. Я видел императора на лошади, в бою, у подножия пирамид, окруженного пороховым дымом и мамелюками. Я видел императора под Аустерлицем и слышал, как свистали пули над ледяной равниной. Я видел и слышал бой под Иеною, под Эйлау, под Ваграмом».

О разных славных битвах восторженно рассказывал своему питомцу Капэ. Но особенно его трогали рассказы о бородинском сражении, и в этом случае мальчик-поэт не внимал своему наставнику, а всецело склонялся на сторону русских рассказчиков, которых было немало.

Рассказывали и стар, и млад – и те, которые бились начальниками, и те, что сражались воинами-ратниками, – все эти восторженные патриоты, готовившиеся к смерти, чаявшие пасть

за родину и накануне великой битвы облакавшиеся в чистые, белые рубахи, чтобы в них встретить славный конец. Да,

Все громче Рымника, Полтавы
Гремит Бородино!..

воскликает в патриотическом восторге 17-летний Лермонтов, набрасывая в 1831 год)' первый очерк стихотворения, из которого позднее выработалось знаменитое «Бородино».

Интерес к Франции и Наполеону поэт сохранил на всю жизнь. С 1830 года до 1841 он неоднократно занимается французами и их императором. Суждение относительно их изменяется, но любовь к могучему вождю остается все та же. С годами она даже увеличивается и увеличивается именно тогда, когда он бичует французов:

Мне хочется сказать великому народу:
Ты – жалкий и пустой народ,
жалкий до того, что дух Наполеона, примчавшийся в Париж на
свидание с новой гробницей, где лежит его прах, пожалеет
О дальнем острове, под небом южных стран,
Где сторожил его, как он, непобедимый,
Как он, великий океан.

Лермонтов, конечно, не раз слышал рассказы людей, испытавших славное время на Руси и в конце 1820 годов уже чувствовавших гнет реакции.

В Москве, куда переехала Арсеньева на постоянное жительство, он мог их видеть довольно, и что он чуток был к жалобам их, что социальные вопросы и мысли о положении дел начинали его заинтересовывать, мы видим из стихотворения его, написанного еще в 1829 году в пансионе, под заглавием «Жалобы турка», где видно сетование на положение дел в родной стране,

Где являются порой
Умы холодные и твердые, как камень,
Но мощь их давится безвременной тоской,
И рано гаснет в них добра спокойной пламень.
Там рано жизнь тяжка бывает для людей,
Там за успехами несется укоризна,
Там стонет человек от рабства и цепей...
Друг, это край – моя отчизна!

Не знаю, чувствовал ли так пятнадцатилетний мальчик, но что он мог серьезно задуматься над тем, что слышал вокруг себя, это не подлежит сомнению, хотя бы приходилось судить по одному этому стихотворению.

Но я забежал вперед. Возвращаясь к Капэ и воспоминаниям о войнах 1812 и 1815 годов, имевшим влияние на молодого поэта. Замечательно, что жители Тархан из многих наставников Михаила Юрьевича сохранили только воспоминание о Капэ и о немке Ремер, что они знают, как «молодой барин» любил учителя-француза и что об этой любви Лермонтова к нему и о влиянии на него старого наполеоновского офицера говорил и наставник Лермонтова Зиновьев.

Капэ, однако, недолго после переселения в Москву оставался руководителем Мишеля – он простудился и умер от чахотки. Мальчик нескоро утешился. Теперь был взят в дом весьма рекомендованный, давно проживавший в России, еще со времени великой французской рево-

люции эмигрант Жандро, сменивший недолго пробывшего при Лермонтове ученого еврея Леви. Жандро сумел понравиться избалованному своему питомцу, а особенно бабушке и московским родственницам, которых он пленял безукоризненностью манер и любезностью обращения, отзывавшихся старой школой галантного французского двора. Этот изящный, в свое время избалованный русскими дамами француз пробыл при Лермонтове, кажется, около двух лет и, желая завоевать симпатию Миши, стал мало-помалу открывать ему «науку жизни». Полагаю, что мы не ошибемся, если скажем, что Лермонтов в наставнике Саши в поэме «Сашка» (строфа XXV и далее) описывает своего собственного гувернера Жандро под видом парижского «Адониса», сына погибшего маркиза, пришедшего в Россию «поощрять науки». Юному впечатлительному питомцу нравился его рассказ:

Про сборища народные, про шумный
Напор страстей и про последний час
Венчанного страдальца. Над безумной
Парижскою толпою много раз
Носилося его воображение... и т. д.

Из рассказов этих молодой Лермонтов почерпнул нелюбовь свою к парижской черни и особенную симпатию к неповинным жертвам, из среды которых особенно выдвигался дорогой ему образ поэта Андре Шенье. Но вместе с тем этот же наставник внушал молодежи довольно легкомысленные принципы жизни, и это-то, кажется, выйдя наружу, побудило Арсеньеву ему отказать, а в дом был принят семейный гувернер, англичанин Виндсон. Им очень дорожили, платили большое для того времени жалованье – 3000 р. – и поместили с семьей (жена его была русская) в особом флигеле. Однако же и к нему Мишель не привязался, хотя от него приобрел знание английского языка и впервые в оригинале познакомился с Байроном и Шекспиром.

Между тем, шло приготовление к экзамену для поступления в Благородный Университетский пансион. Занятиями Мишеля руководил Александр Зиновьевич Зиновьев, занимавший в пансионе должность надзирателя и учителя русского и латинского языков. Он пользовался репутацией отличного педагога, и родители особенно охотно доверяли детей своих его руководству. В Благородном пансионе считалось полезным, чтобы каждый ученик отдавался на попечение одного из наставников. Выбор предоставлялся самим родителям. Родственники приехавшей в Москву Арсеньевой Мещериновы рекомендовали Зиновьева, и таким образом Лермонтов стал, по принятому выражению, «клиентом» Зиновьева и оставался им во всю бытность свою в пансионе.

Пансион помещался тогда на Тверской; он состоял из шести классов, в которых обучалось до 300 воспитанников. Лермонтов поступил в него в 1828 году, но расстаться с своим любимцем бабушка не захотела, и потому решили, чтобы Мишель был зачислен полупансионером, следовательно, каждый вечер возвращался бы домой.

Справедливое замечание одного из лучших наших публицистов, что «в истории русского образования Московский университет и Царскосельский лицей играют значительную роль», само собой касается и Благородного Университетского пансиона, существование которого неразрывно связано с Московским университетом. Пансион этот с самого своего основания наделял Россию людьми, послужившими ей и приобретшими право на внимание потомства. Так там воспитывались: Д. И. Фонвизин, В. А. Жуковский, Д. В. Дашков, А. И. Тургенев, В. Ф. Одоевский, А. С. Грибоедов, И. Н. Инзов (кишиневский покровитель Пушкина), братья Николай и Дмитрий Алексеевичи Милютины и многие другие.

Можно смело сказать, что добрая часть наших деятелей первой половины XIX века вышла из стен пансиона.

Когда в 1828 году Лермонтов поступил в университетский пансион, старые его традиции еще не совершенно исчезли. Между учащимися и учащими отношения были хорошие. Холодный формализм не разделял их. Интерес к литературным занятиям не ослаб. Воспитанники собирались на общее чтение, и издавался рукописный журнал, в котором многие из них принимали посильное участие. Преподавание было живое, имелось в виду изучение славных писателей древних и новых народов, а не грамматического балласта, под которым в наши дни разумеют изучение языков.

Лермонтов принимал живое участие в литературных трудах товарищей и являлся в качестве сотрудника школьного рукописного журнала «Утренняя заря». Здесь поместил Лермонтов свою поэму «Индианка», которая была им сожжена. Содержание ее мы не знаем.

Им там же помещались стихотворения, на которые было обращено внимание учителей. Лермонтов показывал свои переводы из Шиллера, и Зиновьев полагает даже, что перевод баллады Шиллера «Перчатка» был его первым стихотворным опытом, что, однако, неверно. Любимому им учителю рисования Александру Степановичу Солонецкому Лермонтов передал тщательно переписанную тетрадку своих стихотворений.

Подавали свои стихотворные опыты учителям и другие воспитанники. Дурново подал пьесу «Русская мелодия» – подал ее за свою, хотя она и была писана Лермонтовым, вероятно, шутки ради, потому что Лермонтов, говоря об этом, отзывается о товарище задушевно. Инспектор пансиона Михаил Григорьевич Павлов, профессор физики при Московском университете, отличавшийся живостью преподавания и вносящий в область естествознания философию Шеллинга, поощрял литературные вкусы молодежи и задумал даже собрать лучшие из опытов их в особое издание. Этот проект остался невыполненным, но Лермонтов в письме в Апалиху к тетке своей Марье Акимовне с истинно детской восторженностью упоминает об этом факте.

Этот же инспектор интересовался успехами Лермонтова в рисовании и хранил у себя его удачные рисунки. «Умственное воспитание Лермонтова было по преимуществу литературное», – замечает А. Н. Пыпин в биографическом очерке поэта (изд. 1873 г., т. I, с. 1, с. XXII). Я полагаю, что относительно воспитания поэта можно сказать: любовь ко всем искусствам развивалась в нем, и все искусства были близки душе его. Он не только отлично рисовал, но хорошо играл на скрипке и на фортепиано. А. З. Зиновьев, учивший старших воспитанников декламации, особенно обращал внимание на дикцию любимого им ученика. «Как теперь смотрю на милого моего питомца, – рассказывает этот наставник, – отличившегося на пансионском акте, кажется, 1829 года. Среди блестящего собрания он прекрасно произнес стихи Жуковского «К морю» и заслужил громкие рукоплескания. Тут же Лермонтов удачно исполнил на скрипке пьесу и вообще на этом экзамене обратил на себя внимание, получив первый приз в особенности за сочинение на русском языке».

Лермонтов учился хорошо. Из упомянутого письма к тетке мы видим, что он считался вторым учеником. Поступил Лермонтов, кажется, в 4 или 5 класс. Всех классов было шесть, и высший подразделялся на младшее и старшее отделения. Директором был Петр Александрович Курбатов, а кроме названных учителей в пансионе преподавал еще Д. Н. Дубенский (известный своими примечаниями на «Слово о полку Игореве»), латинскому языку – адъюнкт университета Кубарев и математик Кацауров. В старшем же классе преподавали профессора университета Алексей Федорович Мерзляков и Дмитрий Матвеевич Перевошников.

Мерзляков имел большое влияние на слушателей. Он отличался живой беседой при критических разборах русских писателей и недурно, с увлечением, читал стихи и прозу. Приземистый, широкоплечий, со свежим, открытым лицом, с доброй улыбкой, с приглаженными в кружок волосами, с пробором вдоль головы, горячий душой и кроткий сердцем, Алексей Федорович возбуждал любовь учеников своих. Его любили послушать в классе, с университетской кафедры, в литературном собрании пансиона. Но чтобы вполне оценить его красноречие

и добродушие, простоту обращения и братскую любовь к ближнему, надо было встречаться с ним в дружеских беседах, за круговой чашей или в небольшом обществе коротко знакомых людей; тогда разговор его был жив и свободен. Мерзляков тем более должен был повлиять на Лермонтова, что давал ему частные уроки и был вхож в дом Арсеньевой. Конечно, мы не можем с достоверностью судить насколько сильно было это влияние. Сам Лермонтов не высказывается об этом, но явствовать может это из возгласа бабушки, когда позднее над внуком ее стряслась беда по поводу стихотворения его на смерть Пушкина: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе! Вот до чего он довел его».

Об отношениях Лермонтова к пансионским товарищам мы знаем очень мало, но в одной его тетради, перебеленной в 1829 году, мы встречаемся со стихотворными посланиями к некоторым из них, проливающими свет на эти отношения. В пансионе, в кругу товарищеском, началась поэтическая деятельность Лермонтова и по свидетельству наставника его Зиновьева, и по собственному признанию поэта. Но эта поэтическая деятельность подготовлялась в душе мальчика еще раньше. Интересно заглянуть в самый процесс первого развития ее.

Глава III

Начало поэтической деятельности. – Юношеские тетради Лермонтова. – Подражания Пушкину: «Черкесы», «Кавказский пленник». – Послание к школьным друзьям, «Корсар» и «Преступник». – Влияние Шиллера и Гете. – Начало драматических опытов. – Сюжеты драм. – Влечение к Испании. – Драма «Испанцы».

Пребывание на Кавказе и первая любовь открыли душу ребенка для мира поэзии. До нас дошла голубого цвета бархатная тетрадь, принадлежавшая Лермонтову-ребенку. Она была подарена ему дружественно расположенным лицом на двенадцатом его году. И в эту тетрадь стал мальчик вписывать те стихи, которые ему особенно нравились. Явление это весьма обыкновенное. Вряд ли есть какой-либо ребенок, одаренный самой обыденной фантазией, который не заводил бы себе альбомов для записывания нравящихся ему стихов. Но по тетрадям Лермонтова мы вполне можем проследить, как от переписки стихов он мало-помалу переходит к переработке или переложению произведений известных поэтов, затем уже к подражанию и наконец к оригинальным произведениям. Замечу тут, кстати, что, строго говоря, подражания в Лермонтове не было. Напротив того, он переиначивал произведения других писателей, придавая им характер, присущий его индивидуальности. Подражание ограничивалось разве тем, что молодой поэт заимствовал сюжет или тот или другой стих, но и сюжету он давал свое освещение и иной характер действующим лицам и событиям. Стихи же, которые он заимствовал у другого поэта, получали у него своеобразный вид и напоминали оригинал разве одной лишь чисто внешней своей формой, но отнюдь не значением.

Платя дань обычаю времени, бабушка старалась сделать для внука французский язык родным. Тетради носят на себе следы этих французских упражнений. Даже переписка Лермонтова-юноши с близкими людьми велась на французском языке. Но поразительно верное чутье, которым всегда отличался поэт наш, рано подсказало ему, что не иноземная, а русская речь должна служить его гению. С Лермонтовым не повторялось того, что видим мы в Пушкине, – он не на французском языке пишет свои первые опыты.

Пятнадцати лет уверен он, что «в народных русских сказках более поэзии, чем во всей французской литературе». Напрасно окружающие стараются убедить двенадцатилетнего мальчика в красотах французской музыки: он, как будто скрепя сердце, поддается общему тогда восхищению этими поэтами, но уже тринадцати лет, кажется, навсегда отворачивается от них. По крайней мере, в упомянутой нами голубой бархатной тетрадке мальчика Лермонтова мы находим пометку, которой он вдруг перерывает неоконченную выписку из сочинения французского автора, говоря: «Я не окончил, потому что окончить не было сил». А затем, как бы в подтверждение нашей догадки, что ему чужеземная речь была не по душе, он переходит к переписке русских стихотворений, помечая день этот 6 ноября 1827 года. Дальше мы будем иметь случай указать на задушевную мысль уже зрелого таланта – избавить нашу литературу от наплыва произведений иноземных муз.

Первая выписка поэтических произведений на русском языке, которую мы находим в тетради Лермонтова – это «Бахчисарайский фонтан» А. С. Пушкина, переписанный им целиком, и «Шильонский узник» В. А. Жуковского. Самостоятельные же поэтические опыты, по собственному признанию поэта, были им сделаны в пансионе.

Приступая к рассмотрению этих опытов, нельзя не поговорить о важности биографического материала, представляемого юношескими тетрадями поэта. Они нагляднее всякой биографии рисуют поэта и постепенное развитие его таланта. Из них видно, как рано полюбил Лермонтов поэзию и как постоянно оставался верен ей. Дома, в пансионе, летом в деревне – везде вносил он в эти тетради свои мысли, чувства и свои – сначала детские, потом юношеские – стихотворения. Из этих же тетрадей видно, кто больше всего имел влияния на Лермон-

това, что он читал, чего хотел, как он по несколько раз обращался к одной и той же мысли. Эти тетради составляют счастливое приобретение для биографа, но, кроме того, и редкость в литературном мире. У какого писателя так далеко могут восходить воспоминания? У кого из них уцелел такой материал, если не всегда важный в литературном, то неоцененный в биографическом отношении? Здесь нет той невольной хитрости, тех невольных уловок мыслей, которые всегда заметны в автобиографиях, написанных в позднюю пору жизни, нет желания отыскивать объяснения позднейших явлений, хитрить с самим собой, все подводить под одну теорию – одним словом, нет умысла, хорошего или дурного, все равно. Здесь день идет за днем, перед вами растет человек и поэт, и вы, помимо всяких чужих свидетельств, которым не всегда можно верить, видите, что он любил, как он любил, что имело на него сильное влияние, под влиянием каких писателей и направлений он находился. Вы видите постепенное влияние на него французских писателей, потом Пушкина, Жуковского, Шиллера, Гете, Байрона и Шекспира.

В тетрадях этих литературная работа часто прерывается ученическими упражнениями на немецком, французском и английском языках, а в школьных тетрадях среди ученических занятий встречаем мы стихотворные наброски.

От переписки стихов Лермонтов перешел к их переделке. Понятно, что любимцем его стал Пушкин, слава которого тогда уже гремела. Но не первые произведения «певца Руслана и Людмилы», как всюду тогда величали Пушкина, увлекали мальчика. Своеобразные типы байроновских героев, отразившихся на «Бахчисарайском фонтане», «Кавказском пленнике» и «Цыганах», поражают его воображение. Образцы эти, естественно, вязались с омраченной, чуткой и не чуждой страданиям душой мальчика. Знаменательно уже, что он тщательно переписывает именно «Бахчисарайский фонтан» и «Шильонский узник». Хотя в переводе Жуковского, уже по свойству его таланта, выдвинулась более романтическая сторона и меньше заметно специального духа, свойственного байроновским героям, все же он сказался и вместе с «Братьями-разбойниками» Пушкина (напечатанными в 1825 году в «Полярной звезде») вызвал со стороны Лермонтова две поэмы – «Корсар» и «Преступник».

Впрочем, как на первую попытку подражать Пушкину, можно смотреть на поэму «Черкесы», писанную, как кажется, в 1828 году. Писал эту поэму Михаил Юрьевич, когда ему не было еще 14 лет, – писал в городе Чембары, за дубом, с которым связывалось какое-то дорогое для него воспоминание. Рукой поэта на самом заглавном листе переписанной им начисто поэмы помечено: «В Чембаре, за дубом». Мальчика охватили образцы и звуки пушкинского «Кавказского пленника». И неудивительно, что именно это произведение славного нашего поэта увлекало мечтательного Мишеля. Эта мечтательность и так давно была возбуждена картинами Кавказа. Ему невольно должно было казаться, что Пушкин вылил словами то, что выразить самому еще было не по силам. Живые впечатления Кавказа, вынесенные мальчиком так недавно, сливались с очарованием пушкинского стиха. Сначала он зачитывается этим произведением, но работающие в нем мысли и чувства настолько самостоятельны, что он не может без дальнейшего принять и удовлетвориться продуктом чужого творчества. И вот он под руководством поэмы Пушкина пробует создать свое или переделать эту дорогую поэму так, чтоб она более соответствовала его собственному мировоззрению и индивидуальности его. Поэтому он, не стесняясь, берет у Пушкина, что ему кажется подходящим, а что не подходит, он видоизменяет по-своему.

Неудовлетворенный первой попыткой, Лермонтов тотчас берется за переделку сюжета и прямо называет его одним именем с пушкинской поэмой – «Кавказский пленник», также как у Пушкина, разбивая его на две части. Надо однако сознаться, что если вся концепция взята Лермонтовым у Пушкина, то в картинах кавказской природы мы видим будущего великого художника. Многие стихи «Черкесов» мы встречаем в стихах «Кавказского пленника»; и те, и другие являются собственно только пересказом пушкинских.

Конец пушкинской поэмы, очевидно, казался юному поэту недостаточно трагичным, то есть ужасным – два понятия, всегда смешиваемые в юные годы. И вот Лермонтов старается усилить впечатление тем, что освобожденный любящей его черкешенкой пленник в глазах ее сражен пулей, посланной ему притаившимся отцом ее. При этом сама смерть пленника описывается почти теми же словами, как смерть Ленского в «Евгении Онегине».

Но роковой ударил час...
Раздался выстрел – и как раз
Мой пленник падает... Не муку,
Но смерть изображает взор,
Кладет на сердце тихо руку...

Отец попирает убитого ногой, и, не вынеся этого горя, черкешенка, как и у Пушкина, потопляет себя. Трагизм всего Лермонтов старается увеличить указанием на то, что старый черкес, застреливший русского, в то же время стал убийцей своей дочери.

Но кто убийца их жестокий?..
Он был с седой бородой;
Не видя девы черноокой,
Сокрылся он в глуши лесной.
Увы, тот был отец несчастной!..
Поутру труп оледенелый
Нашли на пенистых берегах:
Он хладен был, окостенелый.
Казалось, на ее устах
Остался голос прежней муки;
Казалось, жалостные звуки
Еще не смолкли на губах...
Узнали все, но поздно было...
Отец, убийца ты ее,
Где упование твое?
Терзайся век, живи уныло!
Ее уж нет и за тобой
Повсюду призрак роковой...

Весьма замечательно, что уже тут в первом произведении поэта высказывается самостоятельная мысль (об отце у Пушкина и намек нет), которую потом встретим мы в целом ряде юношеских драм. Это – деспотизм отца, доводящий детей до трагического самоубийства.

В поэму введены и друзья пленника, чего нет у Пушкина. Внося в поэму свое индивидуальное, Лермонтов дал в ней место выражению занимавших его чувства. Душа его в то время уже сильно жаждала дружбы. В набело переписанной тетради 1829 года, содержащей пьесы 1828 года, мы встречаем множество намеков, указывающих на то, что душа мальчика постоянно была занята мыслями о дружбе. Многие стихи посвящены лицам, очевидно, из дружеского, товарищеского круга:

Я рожден с душою пылкой,
Я люблю с друзьями быть

– говорит он. Всю тетрадь эту Лермонтов посвящает тогдашнему близкому другу своему, некоему Сабурову, не раз, впрочем, оскорблявшему чуткую душу мальчика.

... Оттенок чувств тебе несу я в дар,
Хоть ты презрел священной дружбы жар.

Он жалуется, что «ложный друг увлек Сабурова в свои сети», жалуется на его измену, восклицает: «Как он не понимал моего пылкого сердца!» и зовет его к себе

Под сень черемух и акаций,
Чтоб разделить святой досуг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.